# Рудин

## VI

Прошло два месяца с лишком. В течение всего этого времени Рудин почти не выезжал от Дарьи Михайловны. Она не могла обойтись без него. Рассказывать ему о себе, слушать его рассуждения стало для нее потребностью. Он однажды хотел уехать, под тем предлогом, что у него вышли все деньги: она дала ему пятьсот рублей. Он занял также у Волынцева рублей двести. Пигасов гораздо реже прежнего посещал Дарью Михайловну: Рудин давил его своим присутствием. Впрочем, давление это испытывал не один Пигасов.

– Не люблю я этого умника, – говаривал он, – выражается он неестественно, ни дать ни взять, лицо из русской повести; скажет: «Я», и с умилением остановится … «Я, мол, я…» Слова употребляет все такие длинные. Ты чихнешь – он тебе сейчас станет доказывать, почему ты именно чихнул, а не кашлянул… Хвалит он тебя – точно в чин производит… Начнет самого себя бранить, с грязью себя смешает – ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал.

Пандалевский побаивался Рудина и осторожно за ним ухаживал. Волынцев находился в странных отношениях с ним. Рудин называл его рыцарем, превозносил его в глаза и за глаза; но Волынцев не мог полюбить его и всякий раз чувствовал невольное нетерпение и досаду, когда тот принимался в его же присутствии разбирать его достоинства. «Уж не смеется ли он надо мною?» – думал он, и враждебно шевелилось в нем сердце. Волынцев старался переломить себя; но он ревновал его к Наталье. Да и сам Рудин, хотя всегда шумно приветствовал Волынцева, хотя называл его рыцарем и занимал у него деньги, едва ли был к нему расположен. Трудно было бы определить, что, собственно, чувствовали эти два человека, когда, стискивая по-приятельски один другому руки, они глядели друг другу в глаза…

Басистов продолжал благоговеть перед Рудиным и ловить на лету каждое его слово. Рудин мало обращал на него внимания. Как-то раз он провел с ним целое утро, толковал с ним о самых важных мировых вопросах и задачах и возбудил в нем живейший восторг, но потом он его бросил… Видно, он только на словах искал чистых и преданных душ. С Лежневым, который начал ездить к Дарье Михайловне, Рудин даже в спор не вступал и как будто избегал его. Лежнев также обходился с ним холодно, а впрочем, не высказывал своего окончательного мнения о нем, что очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась перед Рудиным; но и Лежневу она верила. Все в доме Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина: малейшие желания его исполнялись.

Порядок дневных занятий от него зависел. Ни одна раrtie de plaisir *note 2[[1]](#footnote-1)7* не составлялась без него. Впрочем, он не большой был охотник до всяких внезапных поездок и затей и участвовал в них, как взрослые в детских играх, с ласковым и слегка скучающим благоволением. Зато он входил во все: толковал с Дарьей Михайловной о распоряжениях по имению, о воспитании детей, о хозяйстве, вообще о делах; выслушивал ее предположения, не тяготился даже мелочами, предлагал преобразования и нововведения. Дарья Михайловна восхищалась ими на словах – и только. В деле хозяйства она придерживалась советов своего управляющего, пожилого одноглазого малоросса, добродушного и хитрого плута. «Старенькое-то жирненько, молоденькое худенько», – говаривал он, спокойно ухмыляясь и подмигивая своим единственным глазом.

После самой Дарьи Михайловны Рудин ни с кем так часто и так долго не беседовал, как с Натальей. Он тайком давал ей книги, поверял ей свои планы, читал ей первые страницы предполагаемых статей и сочинений. Смысл их часто оставался недоступным для Натальи. Впрочем, Рудин, казалось, и не очень заботился о том, чтобы она его понимала – лишь бы слушала его. Близость его с Натальей была не совсем по нутру Дарье Михайловне. «Но, – думала она, – пускай она с ним поболтает в деревне. Она забавляет его, как девочка. Беды большой нет, а она все-таки поумнеет… В Петербурге я это все переменю…»

Дарья Михайловна ошибалась. Не как девочка болтала Наталья с Рудиным: она жадно внимала его речам, она старалась вникнуть в их значение, она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения; он был ее наставником, ее вождем. Пока – одна голова у ней кипела… но молодая голова недолго кипит одна. Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гетевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным взором; со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые, светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга…

– Скажите, Дмитрий Николаич, – начала она однажды, сидя у окна за пальцами, – ведь вы на зиму поедете в Петербург?

– Не знаю, – возразил Рудин, опуская на колени книгу, которую перелистывал, – если соберусь со средствами, поеду.

Он говорил вяло: он чувствовал усталость и бездействовал с самого утра.

– Мне кажется, как не найти вам средства?

Рудин покачал головой.

– Вам так кажется!

И он значительно глянул в сторону.

Наталья хотела было что-то сказать и удержалась.

– Посмотрите, – начал Рудин и указал ей рукой в окно, – видите вы эту яблоню: она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения…

– Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры, – возразила Наталья.

– Я вас понимаю, Наталья Алексеевна; но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору.

– Мне кажется, сочувствие других… во всяком случае, одиночество…

Наталья немного запуталась и покраснела.

– И что вы будете делать зимой в деревне? – поспешно прибавила она.

– Что я буду делать? Окончу мою большую статью – вы знаете – о трагическом в жизни и в искусстве – я вам третьего дня план рассказывал – и пришлю ее вам.

– И напечатаете?

– Нет.

– Как нет? Для кого же вы будете трудиться?

– А хоть бы для вас.

Наталья опустила глаза.

– Это не по моим силам, Дмитрий Николаич!

– О чем, позвольте спросить, статья? – скромно спросил Басистов, сидевший поодаль.

– О трагическом в жизни и в искусстве, – повторил Рудин. – Вот и господин Басистов прочтет. Впрочем, я не совсем еще сладил с основною мыслью. Я до сих пор еще не довольно уяснил самому себе трагическое значение любви.

Рудин охотно и часто говорил о любви. Сначала при слове любовь – m-lle Boncourt вздрагивала и навастривала уши, как старый полковой конь, заслышавший трубу, но потом привыкла и только, бывало, съежит губы и с расстановкой понюхает табаку.

– Мне кажется, – робко заметила Наталья, – трагическое в любви – это несчастная любовь.

– Вовсе нет! – возразил Рудин, – это скорее комическая сторона любви… Вопрос этот надобно совсем иначе поставить… надо поглубже зачерпнуть… Любовь! – продолжал он, – в ней все тайна: как она приходит, как развивается, как исчезает. То является она вдруг, несомненная, радостная, как день; то долго тлеет, как огонь под золой, и пробивается пламенем в душе, когда уже все разрушено; то вползет она в сердце, как змея, то вдруг выскользнет из него вон… Да, да; это вопрос важный. Да и кто любит в наше время? кто дерзает любить?

И Рудин задумался.

– Что это Сергея Павлыча давно не видать? – спросил он вдруг.

Наталья вспыхнула и нагнула голову к пяльцам.

– Не знаю, – прошептала она.

– Какой это прекраснейший, благороднейший человек! – промолвил Рудин, вставая. – Это один из лучших образцов настоящего русского дворянина…

M-lle Boncourt посмотрела на него вкось своими французскими глазками.

Рудин прошелся по комнате.

– Заметили ли вы, – заговорил он, круто повернувшись на каблуках, – что на дубе – а дуб крепкое дерево – старые листья только тогда отпадают, когда молодые начнут пробиваться?

– Да, – медленно возразила Наталья, – заметила.

– Точно то же случается и с старой любовью в сильном сердце: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь может ее выжить.

Наталья ничего не ответила.

«Что это значит?» – подумала она.

Рудин постоял, встряхнул волосами и удалился.

А Наталья пошла к себе в комнату. Долго сидела она в недоумении на своей кроватке, долго размышляла о последних словах Рудина и вдруг сжала руки и горько заплакала. О чем она плакала – бог ведает! Она сама не знала, отчего у ней так внезапно полились слезы. Она утирала их, но они бежали вновь, как вода из давно накопившегося родника.

– В тот же самый день и у Александры Павловны происходил разговор о Рудине с Лежневым. Сперва он все отмалчивался; но она решилась добиться толку.

– Я вижу, – сказала она ему, – вам Дмитрий Николаевич по-прежнему не нравится. Я нарочно до сих пор вас не расспрашивала; но вы теперь уже успели убедиться, произошла ли в нем перемена, и я желаю знать, почему он вам не нравится.

– Извольте, – возразил с обычной флегмой Лежнев, – коли уж вам так не терпится; только, смотрите, не сердитесь…

– Ну, начинайте, начинайте.

– И дайте мне выговорить все до конца.

– Извольте, извольте, начинайте.

– Итак-с, – начал Лежнев, медлительно опускаясь на диван, – доложу вам, мне Рудин действительно не нравится. Он умный человек…

– Еще бы!

– Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой…

– Это легко сказать!

– Хотя в сущности пустой, – повторил Лежнев, – но это еще не беда: все мы пустые люди. Я даже не ставлю в вину ему то, что он деспот в душе, ленив, не очень сведущ…

Александра Павловна всплеснула руками.

– Не очень сведущ! Рудин! – воскликнула она.

– Не очень сведущ, – точно тем же голосом повторил Лежнев, – любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль, и так далее… это все в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед.

– Он, эта пламенная душа, холоден? – перебила Александра Павловна.

– Да, холоден, как лед, и знает это и прикидывается пламенным. Худо то, – продолжал Лежнев, постепенно оживляясь, – что он играет опасную игру, опасную не для него, разумеется; сам копейки, волоска не ставит на карту – а другие ставят душу…

– О ком, о чем вы говорите? Я вас не понимаю, – проговорила Александра Павловна.

– Худо то, что он не честен. Ведь он умный человек: он должен же знать цену слов своих, а произносит их так, как будто они ему что-нибудь стоят… Спору нет, он красноречив; только красноречие его не русское. Да и, наконец, красно говорить простительно юноше, а в его года стыдно тешиться шумом собственных речей, стыдно рисоваться!

– Мне кажется, Михайло Михайлыч, для слушателя все равно, рисуетесь ли вы, или нет…

– Извините, Александра Павловна, не все равно. Иной скажет мне слово, меня всего проймет; другой то же самое слово скажет, или еще красивее, – я и ухом не поведу. Отчего это?

– То есть вы не поведете, – перебила Александра Павловна.

– Да, не поведу, – возразил Лежнев, – хотя, может быть, у меня и большие уши. Дело в том, что слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут поступком – а между тем эти самые слова могут смутить, погубить молодое сердце.

– Да о ком, о ком вы говорите, Михайло Михайлыч?

Лежнев остановился.

– Вы желаете знать, о ком я говорю? О Наталье Алексеевне.

Александра Павловна смутилась на мгновение, но тотчас же усмехнулась.

– Помилуйте, – начала она, – какие у вас всегда странные мысли! Наталья еще ребенок; да, наконец, если б что-нибудь и было, неужели вы думаете, что Дарья Михайловна…

– Дарья Михайловна, во-первых, эгоистка и живет для себя; а во-вторых, она так уверена в своем уменье воспитывать детей, что ей и в голову не приходит беспокоиться о них. Фи! как можно! одно мановенье, один величественный взгляд – и все пойдет, как по ниточке. Вот что думает эта барыня, которая и меценаткой себя воображает, и умницей, и бог знает чем, а на деле она больше ничего, как светская старушонка. А Наталья не ребенок; она, поверьте, чаще и глубже размышляет, чем мы с вами. И надобно же, чтобы эдакая честная, страстная и горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку! Впрочем, и это в порядке вещей.

– Кокетка! Это вы его называете кокеткой?

– Конечно, его… Ну, скажите сами, Александра Павловна, что за роль его у Дарьи Михайловны? Быть идолом, оракулом в доме, вмешиваться в распоряжения, в семейные сплетни и дрязги – неужели это достойно мужчины?

Александра Павловна с изумлением посмотрела Лежневу в лицо.

– Я не узнаю вас, Михайло Михайлыч, – проговорила она. – Вы покраснели, вы пришли в волнение. Право, тут что-нибудь должно скрываться другое…

– Ну, так и есть! Ты говоришь женщине дело, по убеждению; а она до тех пор не успокоится, пока не придумает какой-нибудь мелкой, посторонней причины, заставляющей тебя говорить именно так, а не иначе.

Александра Павловна рассердилась.

– Право, мосье Лежнев! вы начинаете преследовать женщин не хуже господина Пигасова: но, воля ваша, как вы ни проницательны, все-таки мне трудно поверить, чтобы вы в такое короткое время могли всех и все понять. Мне кажется, вы ошибаетесь. По-вашему, Рудин – Тартюф какой-то.

– В том-то и дело, что он даже не Тартюф. Тартюф, тот по крайней мере знал, чего добивался; а этот, при всем своем уме…

– Что же, что же он? Доканчивайте вашу речь, несправедливый, гадкий человек!

Лежнев встал.

– Послушайте, Александра Павловна, – начал он, – несправедливы-то вы, а не я. Вы досадуете на меня за мои резкие суждения о Рудине: я имею право говорить о нем резко! Я, может быть, недешевой ценой купил это право. Я хорошо его знаю: я долго жил с ним вместе. Помните, я обещался рассказать вам когда-нибудь наше житье в Москве. Видно, придется теперь это сделать. Но будете ли вы иметь терпение меня выслушать?

– Говорите, говорите!

– Ну, извольте.

Лежнев принялся ходить медленными шагами по комнате, изредка останавливаясь и наклоняя голову вперед.

– Вы, может быть, знаете, – заговорил он, – а может быть, и не знаете, что я осиротел рано и уже на семнадцатом году не имел над собою набольшего. Я жил в доме тетки в Москве и делал, что хотел. Малой я был довольно пустой и самолюбивый, любил порисоваться и похвастать. Вступив в университет, я вел себя, как школьник, и скоро попался в историю. Я вам ее рассказывать не стану: не стоит. Я солгал, и довольно гадко солгал… Меня вывели на свежую воду, уличили, пристыдили… Я потерялся и заплакал, как дитя. Это происходило на квартире одного знакомого, в присутствии многих товарищей. Все принялись хохотать надо мною, все, исключая одного студента, который, заметьте, больше прочих негодовал на меня, пока я упорствовал и не сознавался в своей лжи. Жаль ему, что ли, меня стало, только он взял меня под руку и увел к себе.

– Это был Рудин? – спросила Александра Павловна.

– Нет, это не был Рудин… это был человек… он уже теперь умер… это был человек необыкновенный. Звали его Покорским. Описать его в немногих словах я не в силах, а начав говорить о нем, уже ни о ком другом говорить не захочешь. Это была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встречал потом. Покорский жил в маленькой, низенькой комнатке, в мезонине старого деревянного домика. Он был очень беден и перебивался кое-как уроками. Бывало, он даже чашкой чаю не мог попотчевать гостя; а единственный его диван до того провалился, что стал похож на лодку. Но, несмотря на эти неудобства, к нему ходило множество народа. Его все любили, он привлекал к себе сердца. Вы не поверите, как сладко и весело было сидеть в его бедной комнатке! У него я познакомился с Рудиным. Он уже отстал тогда от своего князька.

– Что же было такого особенного в этом Покорском? – спросила Александра Павловна.

– Как вам сказать? Поэзия и правда – вот что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном он был мил и забавен, как ребенок. У меня до сих пор звенит в ушах его светлое хохотанье, и в то же время он Пылал полуночной лампадой Перед святынею добра… Так выразился о нем один полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка.

– А как он говорил? – спросила опять Александра Павловна.

– Он говорил хорошо, когда был в духе, но не удивительно. Рудин и тогда был в двадцать раз красноречивее его.

Лежнев остановился и скрестил руки.

– Покорский и Рудин не походили друг на друга. В Рудине было гораздо больше блеску и треску, больше фраз и, пожалуй, больше энтузиазма. Он казался гораздо даровитее Покорского, а на самом деле он был бедняк в сравнении с ним. Рудин превосходно развивал любую мысль, спорил мастерски; но мысли его рождались не в его голове: он брал их у других, особенно у Покорского. Покорский был на вид тих и мягок, даже слаб – и любил женщин до безумия, любил покутить и не дался бы никому в обиду. Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден и чуть ли не робок, пока не задевалось его самолюбие: тут он на стены лез. Он всячески старался покорить себе людей, но покорял он их во имя общих начал и идей и действительно имел влияние сильное на многих. Правда, никто его не любил; один я, может быть, привязался к нему. Его иго носили… Покорскому все отдавались сами собой. Зато Рудин никогда не отказывался толковать и спорить с первым встречным… Он не слишком много прочел книг, но во всяком случае гораздо больше, чем Покорский и чем все мы; притом ум имел систематический, память огромную, а ведь это-то и действует на молодежь! Ей выводы подавай, итоги, хоть неверные, да итоги! Совершенно добросовестный человек на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владеете ею… молодежь вас и слушать не станет. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами хотя наполовину верили, что обладаете истиной… Оттого-то Рудин и действовал так сильно на нашего брата. Видите ли, я вам сейчас сказал, что он прочел немного, но читал он философские книги, и голова у него так была устроена, что он тотчас же из прочитанного извлекал все общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны светлые, правильные нити мысли, открывал духовные перспективы. Наш кружок состоял тогда, говоря по совести, из мальчиков – и недоученных мальчиков. Философия, искусство, наука, самая жизнь – все это для нас были одни слова, пожалуй даже понятия, заманчивые, прекрасные, но разбросанные, разъединенные. Общей связи этих понятий, общего закона мирового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о нем, силились отдать себе в нем отчет… Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы, наконец, схватили ее, эту общую связь, что поднялась, наконец, завеса! Положим, он говорил не свое – что за дело! – но стройный порядок водворялся во всем, что мы знали, все разбросанное вдруг соединялось, складывалось, вырастало перед нами, точно здание, все светлело, дух веял всюду… Ничего не оставалось бессмысленным, случайным: во всем высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значение ясное и, в то же время, таинственное, каждое отдельное явление жизни звучало аккордом, и мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому… Вам все это не смешно?

– Нисколько! – медленно возразила Александра Павловна, – почему вы это думаете? Я вас не совсем понимаю, но мне не смешно.

– Мы с тех пор успели поумнеть, конечно, – продолжал Лежнев, – все это нам теперь может казаться детством… Но, я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многим. Покорский был несравненно выше его, бесспорно; Покорский вдыхал в нас всех огонь и силу, но он иногда чувствовал себя вялым и молчал. Человек он был нервический, нездоровый; зато когда он расправлял свои крылья – боже! куда не залетал он! в самую глубь и лазурь неба! А в Рудине, в этом красивом и статном малом, было много мелочей; он даже сплетничал; страсть его была во все вмешиваться, все определять и разъяснять. Его хлопотливая деятельность никогда не унималась… политическая натура-с! Я о нем говорю, каким я его знал тогда. Впрочем, он, к несчастию, не изменился. Зато он и в верованиях своих не изменился… в тридцать пять лет!.. Не всякий может сказать это о себе.

– Сядьте, – проговорила Александра Павловна, – что вы, как маятник, по комнате ходите?

– Этак мне лучше, – возразил Лежнев. – Ну-с, попав в кружок Покорского, я, доложу вам, Александра Павловна, я совсем переродился: смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел – одним словом, точно в храм какой вступил. Да и в самом деле, как вспомню я наши сходки, ну, ей-богу же, много в них было хорошего, даже трогательного. Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии – говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!.. Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой, а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять молодой Демосфен перед шумящим морем; взъерошенный поэт Субботин издает по временам и как бы во сне отрывистые восклицания; сорокалетний бурш, сын немецкого пастора, Шеллер, прослывший между нами за глубочайшего мыслителя по милости своего вечного, ничем не нарушимого молчания, как-то особенно торжественно безмолвствует; сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок, утихает и только ухмыляется; два-три новичка слушают с восторженным наслаждением… А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе… Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали и понятнее… Эх! славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, – не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом… Сколько раз мне случалось встретить таких людей, прежних товарищей! Кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского – и все остатки благородства в нем зашевелятся, точно ты в грязной и темной комнате раскупорил забытую стклянку с духами…

Лежнев умолк; его бесцветное лицо раскраснелось.

– Но отчего же, когда вы поссорились с Рудиным? – заговорила Александра Павловна, с изумлением глядя на Лежнева.

– Я с ним не поссорился; я с ним расстался, когда узнал его окончательно за границей. А уже в Москве я бы мог рассориться с ним. Он со мной уже тогда сыграл недобрую штуку.

– Что такое?

– А вот что. Я… как бы это сказать?.. к моей фигуре оно нейдет… но я всегда был очень способен влюбиться.

– Вы?

– Я. Это странно, не правда ли? А между тем оно так… Ну-с, вот я и влюбился тогда в одну очень миленькую девочку… Да что вы на меня так глядите? Я бы мог сказать вам о себе вещь гораздо более удивительную.

– Какую это вещь, позвольте узнать?

– А хоть бы вот какую вещь. Я, в то, московское-то время, хаживал по ночам на свидание… с кем бы вы думали? с молодой липой на конце моего сада. Обниму ее тонкий и стройный ствол, и мне кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяется и млеет так, как будто действительно вся природа в него вливается… Вот-с я был какой!.. Да что! Вы, может, думаете, я стихов не писал? Писал-с и даже целую драму сочинил, в подражание «Манфреду». В числе действующих лиц был призрак с кровью на груди, и не с своей кровью, заметьте, а с кровью человечества вообще… Да-с, да-с, не извольте удивляться… Но я начал рассказывать о моей любви. Я познакомился с одной девушкой…

– И перестали ходить на свидание с липой? – спросила Александра Павловна.

– Перестал. Девушка эта была предобренькое и прехорошенькое существо, с веселыми, ясными глазками и звенящим голосом.

– Вы хорошо описываете, – заметила с усмешкой Александра Павловна.

– А вы очень строгий критик, – возразил Лежнев. – Ну-с, жила эта девушка со стариком-отцом… Впрочем, я в подробности вдаваться не стану. Скажу вам только, что эта девушка была точно предобренькая – вечно, бывало, нальет тебе три четверти стакана чаю, когда ты просишь только половину!.. На третий день после первой встречи с ней я уже пылал, а на седьмой день не выдержал и во всем сознался Рудину. Молодому человеку, влюбленному, невозможно не проболтаться; а я Рудину исповедовался во всем. Я тогда находился весь под его влиянием, и это влияние, скажу без обиняков, было благотворно во многом. Он первый не побрезгал мною, обтесал меня. Покорского я любил страстно и ощущал некоторый страх перед его душевной чистотой; а к Рудину я стоял ближе. Узнав о моей любви, он пришел в восторг неописанный: поздравил, обнял меня и тотчас же пустился вразумлять меня, толковать мне всю важность моего нового положения. Я уши развесил… Ну, да ведь вы знаете, как он умеет говорить. Слова его подействовали на меня необыкновенно. Уважение я к себе вдруг возымел удивительное, вид принял серьезный и смеяться перестал. Помнится, я даже ходить начал тогда осторожнее, точно у меня в груди находился сосуд, полный драгоценной влаги, которую я боялся расплескать… Я был очень счастлив, тем более, что ко мне благоволили явно. Рудин пожелал познакомиться с моим предметом; да чуть ли не я сам настоял на том, чтобы представить его.

– Ну, вижу, вижу теперь, в чем дело, – перебила Александра Павловна. – Рудин отбил у вас ваш предмет, и вы до сих пор ему простить не можете… Держу пари, что не ошиблась!

– И проиграли бы пари, Александра Павловна: вы ошибаетесь. Рудин не отбил у меня моего предмета, да он и не хотел его у меня отбивать, а все-таки он разрушил мое счастье, хотя, рассудив хладнокровно, я теперь готов сказать ему спасибо за это. Но тогда я чуть не рехнулся. Рудин нисколько не желал повредить мне, – напротив! но вследствие своей проклятой привычки каждое движение жизни, и своей и чужой, пришпиливать словом, как бабочку булавкой, он пустился обоим нам объяснять нас самих, наши отношения, как мы должны вести себя, деспотически заставлял отдавать себе отчет в наших чувствах и мыслях, хвалил нас, порицал, вступил даже в переписку с нами, вообразите!.. ну, сбил нас с толку совершенно! Я бы едва ли женился тогда на моей барышне (столько-то во мне еще здравого смысла оставалось), но по крайней мере мы бы с ней славно провели несколько месяцев, вроде Павла и Виргинии; а тут пошли недоразумения, напряженности всякие – чепуха пошла, одним словом. Кончилось тем, что Рудин в одно прекрасное утро договорился до того убеждения, что ему, как другу, предстоит священнейший долг известить обо всем старика-отца, – и он это сделал.

– Неужели? – воскликнула Александра Павловна.

– Да, и, заметьте, с моего согласия сделал – вот что чудно!.. Помню до сих пор, какой хаос носил я тогда в голове: просто все кружилось и переставлялось, как в камер-обскуре: белое казалось черным, черное – белым, ложь – истиной, фантазия – долгом… Э! даже и теперь совестно вспоминать об этом! Рудин – тот не унывал … куда! носится, бывало, среди всякого рода недоразумений и путаницы, как ласточка над прудом.

– И так вы и расстались с вашей девицей? – спросила Александра Павловна, наивно склонив головку набок и приподняв брови.

– Расстался… и нехорошо расстался, оскорбительно, неловко, гласно, и без нужды гласно… Сам я плакал, и она плакала, и черт знает, что произошло… Гордиев узел какой-то затянулся – пришлось перерубить, а больно было! Впрочем, все на свете устроивается к лучшему. Она вышла замуж за хорошего человека и благоденствует теперь…

– А признайтесь, вы все-таки не могли простить Рудину… – начала было Александра Павловна.

– Какое! – перебил Лежнев, – я плакал, как ребенок, когда провожал его за границу. Однако, правду сказать, семя там у меня на душе налегло тогда же. И когда я встретил его потом за границей… ну, я тогда уже и постарел… Рудин предстал мне в настоящем своем свете.

– Что же именно вы открыли в нем?

– Да все то, о чем я говорил вам с час тому назад. Впрочем, довольно о нем. Может быть, все обойдется благополучно. Я только хотел доказать вам, что если я сужу о нем строго, так не потому, что его не знаю… Что же касается до Натальи Алексеевны, я не буду тратить лишних слов; но вы обратите внимание на вашего брата.

– На моего брата! А что?

– Да посмотрите на него. Разве вы ничего не замечаете?

Александра Павловна потупилась.

– Вы правы, – промолвила она, – точно… брат… с некоторых пор я его не узнаю… Но неужели вы думаете…

– Тише! он, кажется, идет сюда, – произнес шепотом Лежнев. – А Наталья не ребенок, поверьте мне, хотя, к несчастию, неопытна, как ребенок. Вы увидите, эта девочка удивит всех нас.

– Каким это образом?

– А вот каким образом… Знаете ли, что именно такие девочки топятся, принимают яду и так далее? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти в ней сильные и характер тоже ой-ой!

– Ну, уж это, мне кажется, вы в поэзию вдаетесь. Такому флегматику, как вы, пожалуй, и я покажусь вулканом.

– Ну, нет! – проговорил с улыбкой Лежнев… – А что до характера – у вас, слава богу, характера нет вовсе.

– Это еще что за дерзость?

– Это? Это величайший комплимент, помилуйте…

Волынцев вошел и подозрительно посмотрел на Лежнева и на сестру. Он похудел в последнее время. Они оба заговорили с ним; но он едва улыбался в ответ на их шутки и глядел, как выразился о нем однажды Пигасов, грустным зайцем. Впрочем, вероятно, не было еще на свете человека, который, хотя раз в жизни, не глядел еще хуже того. Волынцев чувствовал, что Наталья от него удалялась, а вместе с ней, казалось, и земля бежала у него из-под ног.

1. Note27

   увеселительная прогулка (франц.). [↑](#footnote-ref-1)